

В.Н. Бараков (Вологда)

ВОЛОГОДСКАЯ ПРОЗА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Русскую культуру рубежа XX—XXI веков уже нельзя считать литературоцентричной по ряду причин. Во-первых, произошло отделение и разделение тех дополнительных функций, которые русская литература вынуждена была включать в себя в советский период. Идеологические, политические, философские и религиозные проблемы теперь проходят по своим «ведомствам». Во-вторых, отсутствие в общественном сознании единой идеологии привело к разобщенности и в литературном процессе. Раскол в литературном мире носит, прежде всего, мировоззренческий характер, а только потом — организационный и финансовый. В-третьих, безразличие власти и невме-

няемая государственная культурная политика (например, отсутствие законов о творческих организациях и авторском праве) привели к всевластию рынка и дурного вкуса. В-четвертых, культурное пространство сжимается даже там, где этого нельзя делать по определению — в образовании. Часы, выделяемые на литературу, сокращаются как в школах, так и в вузах. И в-пятых, на чтение художественной литературы у народа просто нет времени — он зарабатывает на хлеб насущный с утра до вечера. Даже интеллигентный слой поставлен властью перед унижительным выбором: заниматься поденщиной, чтобы свести концы с концами, или отдаться творчеству, но жить в нищете. Искусственно вызванное отсутствие свободного времени для личного творческого развития — одно из самых страшных преступлений нынешней власти, поклоняющейся золотому тельцу.

Как ни парадоксально, но в силу именно этих причин в русской литературе происходят процессы, постепенно возвращающие ее на прежние позиции.

Власть не желает и не может сформулировать национальную идеологию. Философия, социология и политология просто не могут решить эту задачу. Церковь, за исключением отдельных иерархов, священников и мирян, не смеет пока открыто говорить, а главное, требовать что-либо от наших якобы православных лидеров. В этих условиях в войне мировоззрений передовые позиции пришлось занимать русским писателям, так как русскоязычные литераторы в своем большинстве поддерживают либеральную «идеологию», ведущую нацию в тупик.

Плоды этой работы мы видим и в творчестве вологодских писателей-прозаиков, объединенных не только по региональному признаку, но и по схожести идейно-эстетических принципов творчества и его проблематики. В последние годы в критике говорят о традиционной, или классической прозе. Называют ее также неоклассической, либо неореалистической, есть исследователи, склонные видеть в творчестве писателей-традиционалистов обычный реалистический метод, есть критики, называющие его духовным реализмом.

Основным литературно-художественным методом вологодских писателей стал реализм, скорее критический, оппозиционный к нынешней демократической власти.

Главным произведением вологодской прозы первого десятилетия XXI века стала, бесспорно, трилогия **Василия Белова** «Час шестый» (2002), за которую писатель получил Государственную премию России. Впервые книга вышла полностью, без купюр, и только теперь можно сказать, какое место занимает она в русской литературе XX века.

В. Белов по-настоящему правдиво рассказал о пике нашей национальной трагедии, о коллективизации. И название трилогии дал особое: «Час шестой», в этот самый час был распят Иисус Христос...

Коллективизация — самое жестокое, чудовищное потрясение в нашей истории, потрясение, от которого мы до сих пор не смогли оправиться, и которое волна за волной набегает на русскую землю. Не революция, не война переворачивает жизнь нации, а смена уклада. До 1917 года, да и в 20-х годах, 80% населения России составляло крестьянство, а 20% жили в городах. После коллективизации и индустриализации все изменилось с точностью до наоборот — уже к 60–70-м годам 80% народа оказались горожанами, а 20% осталось в деревне. Ничего страшного в этом не было, если бы процесс шел постепенно, но резкая, насильственная смена уклада сказалась даже на национальном характере. Россия вновь была поднята на дыбы.

В. Белов написал не просто эпос, он вывел в нем художественные типы, а это — «высший пилотаж» в прозе. И, наконец, он разглядел религиозный, мистический смысл происшедшего, познал и раскрыл нам глаза на «тайну беззакония», которая, как известно, и сейчас в действии — эта тема звучит и в других произведениях Белова, например, в романе «Все впереди».

Вологодского писателя **Ивана Полуянова** еще в студенческие годы поразила история Смутного времени конца XVI — начала XVII веков. Много позже возник дерзкий замысел: собрать и переработать необъятный исторический материал и написать художественное полотно такого масштаба, какого еще не было на Руси.

Полтора десятилетия писатель изучал научную и художественную литературу, летописи, трудился в архивах (даже в архиве Ватикана!), консультировался у ведущих ученых, вновь и вновь перечитывал тысячи и тысячи документов. В итоге получилось грандиозное, эпохальное произведение на «заданную тему», не имеющее себе равных как по объему (50 печатных листов), так и по степени «погруженности» в материал. Лишь в конце 2005 года роман увидел свет — он вышел в Вологде в издательстве «Книжное наследие».

Самое замечательное и самое удивительное в книге — ее язык. Иван Полуянов первым из писателей, поднимающих тему Смуты, решился во всей полноте воссоздать язык того времени, и этот риск себя оправдал. Помогли ему и собственные изыскания (одно из свидетельств подобных стараний всей его жизни — книга «Месяцеслов»), и сам заповеданный Вологодский Север — рай для диалектологов и фольклористов.

Знание языка эпохи у Полуянова действительно выдающееся. Задействована не только многослойная и многостилевая лексика,

но и пословицы, поговорки, песни, — и все это опирается на великолепное знание деталей.

Еще И. Гоголь замечал, что язык древнего времени должен вводиться в текст осторожно, в меру, чтобы не терялся смысл. У Полюянова, к счастью, таких сбоев немного. Более существенные просчеты видны там, где авторская речь сливается с речью персонажей, а ведь авторский голос обязан звучать обособленно, автор — один из главных героев романа.

Сюжет книги ожидаем: великая «замятня», историческая российская катастрофа раскола... Загадочная и поныне гибель царевича Дмитрия, «зеленые годы» — голод в царствование Бориса Годунова, затем распад страны, интервенция, Лжедмитрий Первый, Лжедмитрий Второй («...дважды наступить на одни и те же грабли? А, Русь... У нас все возможно!»), потом народное ополчение, Минин и Пожарский, избрание Михаила Романова на престол... Действие переносится из Углича в Москву, из Москвы — в Вологду, из Вологды — в Елец, «всем вора́м отец», из Ельца — в Устюжну, но центром всех главных событий остается Москва. И причиной смуты — тоже.

Еще не родился Александр Грибоедов, разглядевший на «всех московских» особый отпечаток, а в народном сознании все уже было подмечено: «...у нас просто: друг так друг, враг так враг. Не то на Москве — ни в чем толку не дашь». О чем говорить, «ежели у Москвы началось аж четыре патриарха: Иов, Игнатий Грек, нареченный Филарет Романов и новопоставленный Гермоген с Казани...» И так было и будет всегда: «трещина между Москвой и державой» — «рана, кровоточащая из века в век».

Это не параллель с современностью, это одна линия. И таких примеров в книге — бесконечное множество... И в веке семнадцатом испугавшиеся слухов простолюдины закупали «про запас» муку, соль и крупы, забивая окна решетками: «Заказов набрано — помещалась Москва на запорах и засовах, на решетках к окнам — робь, не ленись, деньги сами плывут».

А наше знаменитое и отвратительное пресмыкательство перед иностранцами? И соответственно, их презрение к «дикой, варварской» необъятной Скифии: «Межгосударственные договоры обязательны к исполнению русскими, воспитанные же, гуманные европейцы поступают, как им диктует здравый смысл».

Ничего не изменилось в отношениях России и Запада с тех пор. Как мечтал Ватикан привести «народ московский, издавна отпавший от римско-католической церкви и блуждающий во тьме, в лоно святой церкви», так и мечтает; как считал «среднеевропейец», что русские — это «медвежий народ», так и считает.

Впрочем, об иноплеменниках разговор особый, беда в том, что мы сами даем повод к расколу. Вот и отец Никодим выговаривает центральному персонажу Федору Лупову: «— Кто самозванец-то? Мы! Я, ты, они — мослатые руки проделали широкое круговое движение. — В себе скверна, тычем на соседа: он гаже. Прости Господи, долги наши! Никого себя чище не ищем, страх Божий забыт, людское в себе топчем».

Увы, глас народа — не всегда глас Божий: народное, «демократическое» голосование — еще не конец, «делу венец». И Бориса Годунова избрали «всенародно», и Василия Скопина-Шуйского, и Гришку Отрепьева поначалу считали «истинным» царем (а как быть, если мать царевича Дмитрия прилюдно признала в нем сына?!..). Ошиблись все. В разброд вверглись даже монахи и священники (некоторые из них ушли в лесные «шиши» — разбойники), только патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий стояли на своем: чехарда с самозванными Дмитриями-царевичами (всего их было почти два десятка!) — внешнее следствие неустроенности духовной жизни и «верхов» и «низов». Потакание страстям, самостийное владение землей и волей, забвение Божьих заповедей, церковной и гражданской дисциплины — вот корень всех бед. Разрушился духовный строй жизни — развалилось и русское государство.

Однако голос пастырей церковных не сразу был услышан. Одно дело слышать, другое — внимать... Только когда подошли к самому краю, когда телесные и душевные силы нации были истощены, только тогда обращение патриарха Гермогена дошло и до сердца, и до ума народного, и в Нижнем произошло невиданное: чтобы собрать ополчение и спасти страну, стали отдавать последнее, закладывая жен и детей...

Избрание Михаила Романова царем было тоже из ряда вон выходящим событием: выборщики впервые руководствовались не политическими и не корыстными интересами, а долгом перед державой. Совсем юный, несовершеннолетний Михаил был чуть ли не единственным из княжеских родов, кто не запятнал себя предательством — просто не успел!

На этом история Смуты не закончилась. Начало трехсотлетней династии Романовых было сразу же омрачено дикой смертью еще одного младенца в русской истории. Свершилась постыдная казнь четырехлетнего сына Марины Мнишек и Самозванца:

«Ребенок моргал круглыми, какими-то овечьими глазенками. Обступили, заслонили его от зевак палачи.

— Мама, мама!

Зови, не зови, далеко мама! Сказывали осенью 1614 года послы Мо-

сковии в Польше, якобы Марина Мнишек скончалась в Туле «от тоски по родине».

Детский плач, топотня на помосте.

— Ох, отольются кому-то энти слезы...

«Ужель я проговорился?» — вздрогнул Лупов.

Пушинкой порхнул к небу Иван-царевич — горло перехватило петель, головенка набок.

В истерике забила женщина, когда заплечный мастер-кудряш, из усердия к делу, подергал повешенного за ножку:

— Шейку ему оборвешь, злыдень!».

Иван Полуянов признался однажды: образцом, от которого он отталкивался в своих художественных исканиях, был «Тихий Дон». Действительно, злоключения главного героя Федора Лупова чем-то напоминают метания Григория Мелехова — кидает его из стороны в сторону: то в государевы люди, то в побирушки, то в разбойники. Только мелковат Федор для эпического героя, нет в нем ни подлинной страсти, ни дерзости, ни удали молодецкой. Да и любовная история Федора и его ненаглядной Дарьи дана как-то пунктирно, а гибель этой пары в конце произведения выписана настолько искусственно и торопливо, что говорить даже об отдаленном сходстве с трагической развязкой романа Шолохова просто неловко.

По жанру произведение Полуянова — не роман, в центре которого судьбы героев, а историческая хроника, вполне самодостаточная и без вымышленных персонажей, тем более что автор каждый раз возвращается к ним после чересчур длительных пауз — так что читатель с трудом вспоминает, что же происходило с героями ранее.

Писатель слишком увлечен пересказом исторических событий, текст перегружен излишними подробностями и перенасыщен именами, которые мало что говорят неискушенному читателю. Стремление передать в диалогах дыхание времени само по себе похвально, но оно должно опираться на авторские комментарии, а они слишком скудны, в них мало собственно поэзии, той внутренней лиричности, которая должна поднимать смысловой уровень произведения до эпических высот.

Думается, что историк в данном случае победил художника — не случайно Иван Полуянов не смог определить жанр собственного детища, оставив расплывчатый подзаголовок: «По хроникам великой смуты конца XVI — начала XVII веков»...

В новой книге Станислава Мишнева «Пятая липа», опубликованной в 2005 году, окончательно свершился переход от изображения автором социального времени к переосмыслению его же, но с метафизических позиций.

Темы его рассказов вечные, как сама жизнь. Любовь, блаженство, горе, смерть, снова любовь — что может быть на этой земле проще и величественней?

Федор Достоевский заметил однажды, что русский человек страдает от двух бед: безденежья и несчастной семейной жизни. Сегодня к этим традиционным напастям добавились еще и реформы: «Реформы все идут и идут. И когда они кончатся, и начнется нормальная жизнь?» (рассказ «Фаина Солод»).

В произведениях Станислава Мишнева звучат голоса глубинной России, живущей собственным, воистину драгоценным, хотя и не востребованным умом.

В рассказе «Кровь у всех красная» отличник Сашка Загоскин, которого в школе зовут Сократом, напишет в своем дневнике: «Где Энгельгардты, где настоящие землепользователи? Виноватых пруд пруди, особенно в деревне. Чувствуется, что зреет нарыв, он будет зреть очень болезненно и долго, таков расклад нашей действительности. Стареют липы у нашего дома, тощат деревня народом, но самое страшное — живые живых готовы перехоронить раньше срока... Наш народ попал в какой-то унижительный вакуум, мне кажется, мы не верим ни нашим правителям, ни в Русь, мы возвращаемся в чашу, в разноголосое чтение...»

И вот этого самого Сашку, гордость и надежду односельчан, пьяные милиционеры губят просто так, от злобы своей неизбывной: «...они схватили Сашку за ноги, раскачали и кинули, должно быть метя перекинуть через изгородь, но Сашка не перелетел изгородь, он животом плюхнулся на два острых кола, и дикий вопль прорезал деревню...»

Борис Екимов пишет вроде бы о том же убитом горем селе, но его рассказы больше походят на физиологические очерки. У Станислава Мишнева, кроме повседневной жизни, есть философский подтекст, есть нечто более существенное и до конца не разгаданное — все то, что зовется поэзией.

Станислав Мишнев способен угадать типичное как в судьбе отдельного человека, так и в жизни нации; обыденное, мирское под его пером совершенно преображается.

«В уходящем дне, — признается писатель, — всегда есть что-то печальное, влекущее и чарующее, незаконченное, незавершенное, иконописное. Стою на росстани на краю поля — дорога на две руки... За спиной моя бедная, разоренная деревня... мои глаза становятся острыми и, словно впиваясь то в мелькнувший вдалеке свет, то в пролетающего жука, сияются на всю оставшуюся жизнь запомнить все, взять с собой все. Я жадный — все!.. В обмен на будущее — непознанное и светлое, забрать омытое слезами отжившее, лукавое и

проклятое настоящее. В эту минуту душа переполнена особым чувством, нотой искреннего удовлетворения, любви к своей униженной России, и название этому — Вечность».

В 2005 году Государственной премией Вологодской области была отмечена книга Александра Цыганова «Вологодский конвой», в которую вошли одноименная повесть (журнальный вариант был опубликован в декабрьском номере «Москвы» за 2003 год), а также несколько рассказов. Все эти произведения объединены общей темой и фигурой главного героя — начальника отряда осужденных в поселке Людиново, затерянного в глухих вологодских лесах.

Писатель десять лет был «отрядником» в колонии усиленного режима, жил и работал с людьми, совершившими тяжкие преступления, а это ни много ни мало полторы сотни судеб, помеченных всеми возможными статьями уголовного кодекса.

Пять лет назад Александр Цыганов поставил свою подпись под манифестом «Группы семнадцати» (Лит. газета, 2005, №№ 2–3), в котором, в частности, сказано: «Растерявшиеся в период коренной ломки российского общества советские писатели второй половины XX века не смогли осмыслить и изобразить в своих произведениях все грани и проблемы современной действительности. Эта задача легла на наши плечи, на плечи тех, кто продолжает традицию русских реалистов!» Эта традиция проявляет себя и внешне — главный герой книги лейтенант Игорь Цыплаков, рискуя собой, выносит из горящего клуба бюст Федора Достоевского; перечитывает «Дневник писателя» — и на ином, глубинном уровне: «Эстафета человеческой жизни всегда была бесконечной».

Федор Достоевский, а в двадцатом веке и Александр Солженицын не раз признавались, что именно там, на каторге и в лагере, соприкоснулись с народной правдой, заглянули в душу народа. Из книги Александра Цыганова можно узнать, какие родники сейчас питают реку невидимого духа, ведь здесь, и только здесь можно заглянуть в «ясны очи» (название первой главы повести) обиженного и униженного русского народа, разглядеть в них нечто непостижимое: «Не узнав горя — не узнаешь и радости».

Замполит колонии таит злобу на Игоря Цыплакова — «за то, что слишком много любит с воспитанниками по душам болтать. Другие отрядники сразу рукой махнули: по уставу жить — легче служить». Да, легко любить простого смертного, «без вредных привычек», а как полюбить человека, искореженного грехом, недоброго, с черной памятью? Тем не менее, «все осозная, Игорь Цыплаков всегда слышал в себе какую-то тайную, поддерживающую силу, в великую помощь которой и уверовал как-то тихонько, точно в спасенье...» Главный герой переживает за своих подчиненных, болеет

сердцем — и не образно, а на самом деле, до отправки в больничный стационар: «Это только кому не больно, тому и не может быть тошно». И эта боль не остается незамеченной — сострадающую душу своего наставника заключенные распознают и полюбят.

«Все мы одним миром мазаны», — говорят в народе, и во все века и тысячелетия этот приговор остается единственно справедливым. Душевная и духовная немощ везде одна — и по ту, и по другую сторону колючей проволоки.

Диакон Андрей Кураев в статье «Православным пора почувствовать вкус к карьере» («Москва», 2004, № 11) размышляет: «Порой кажется, что на сегодняшний день наиболее успешным направлением церковной миссии стало тюремное служение. В какую епархию ни приедешь, всюду узнаешь, что два-три священника работают с зонной (и низкий поклон им за это). Но на вопрос: «А есть ли у вас священники, работающие с университетами?» — положительный ответ слышишь гораздо реже...» Увы, священника с радостью принимают именно в колониях, а в большинстве вузов — тысячу раз подумают, прежде чем... не пустят. «И последние станут первыми...»

Книга Александра Цыганова располагает к медленному чтению, к раздумчивому созерцанию. Автор неспешно поднимается по незримым ступенькам к тайне слова, к тайне жизни народной. Николай Рубцов однажды приоткрыл завесу этой тайны: «Здесь русский дух в веках произошел, И ничего на ней не происходит». Александр Цыганов утверждает ее в своей прозе, кровно связанной с жизнью: «А случись что — ткнуться уже некуда: по пути три деревушки почти пустые, в каких домах старики да старухи даже часы на новое время не переводят. Говорят: нам спешить некуда, мы свое отжили, а время везде одинаково».

По всему тексту книги щедро рассыпаны пословицы и поговорки: «люди проторили, люди и ходят», «которая служба нужнее, та и честнее», «рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри»... И кто тут творец — народ, или автор — неведомо, тем более, что эти богатства русской речи не кажутся излишними, Цыганов собирает их любовно и меру чувствует: «Дупа твоя — мера...»

Книга Александра Цыганова — пример подлинного языкотворчества, связанного с внутренним духовным трудом: «Меньше надо говорить, меньше надо говорить...» — непонятно почему нашептал я себе, считая, что этим избавлюсь от случайных и необдуманных слов». И герой, и автор очищают сначала душу, а затем и речь от всего чуждого, наносного, восстанавливают мощное природное течение великого в своей правде живого языка.

Проза Александра Ломковского отличается психологической достоверностью и музыкальностью. Он может выстраивать диалоги,

рисовать портреты героев, удачно формирует фабульную основу. Но все это — приложение к самой главной способности молодого писателя: умению создавать особую лирическую атмосферу в тексте.

А. Ломковский прошел длинный путь испытаний, поисков, потрясений и удач. Он работал электриком, стропальщиком, бетонщиком, резчиком по дереву, санитаром в психлечебнице, механиком, электромонтажником, охранником. Рассказ «Моя война», например, посвящен войне в Чечне, он весьма и весьма жесткий и реалистичный. Все это добавляет подлинности и полновесности его романтически окрашенной прозе.

Творческое восхождение Ломковского тоже не было гладким: начинал он со стихов, но потом перешел на прозу, публиковался в местных и центральных изданиях. Трижды Ломковский участвовал в семинарах молодых писателей Вологодчины, в 2008 году стал лауреатом первого Всероссийского конкурса современной прозы имени В.И. Белова «Все впереди» и только после этого был принят в Союз писателей России. За последние два-три года он значительно вырос как прозаик.

Владимир Личутин в предисловии к первой книге Ломковского «Два костра» (2008) сказал о важном качестве его прозы: «Рассказы писателя целостны и религиозны не внешним пафосом, но глубиной заповедальностью, верностью национальным идеалам».

Ощущение, настроение — ключевые слова этой книги. Центральный рассказ «Два костра» — лирический, душевный по интонации, живописный по исполнению и очень музыкальный, но слишком сентиментальный. Сборник, тем не менее, отличается разнообразием тем и сюжетов. В нем можно найти не только «вариации на тему любви», но и рассказ-характер («Венькины сны»), рассказ-судьбу («Леший»). Шукшинская терминология здесь вполне уместна, так как Ломковский сознательно ориентируется на классические образцы русской прозы.

В рассказе «Новый день» изображен вроде бы обычный летний утренний пейзаж. Но и само название, и символическая картина восходящего солнца, которому мешают «тяжелые мохнатые тучи и холодный ветер», помогают разглядеть на этом словесном полотне художественное воплощение задушевной авторской и одновременно выстраданной народом мысли о неизбежном поражении сил зла.

Главный герой рассказа «Сын» Кузьмич говорит об этом же, но по-своему, не менее убедительно и победно:

«А непошта и помирать собрался. Поживем ишшо! Слышь, Серко? Поживе-ом!...»

В августе 2011 года Вологодская писательская организация отметит 50-летие. Мы живем не только своей славной историей, ко-

торая всегда с нами, но и днем сегодняшним. Впрочем, вологодские чиновники никак не могут примириться с самим фактом существования творческого писательского союза, никак не могут понять, для чего вообще нужны писатели. Ведь они не только «не сеют, не пахут, не строят», но и, ко всему прочему, почему-то упорно не желают «гордиться общественным строем»...

Главным в творчестве вологодских писателей-прозаиков стало, прежде всего, возрождение православного миропонимания, духовной опоры нынешнего национального бытия, и соответственно, этической основы русской литературы, которая в лучшей своей части возвращается к классическим традициям.

